ИЗДАНІЕ МОСКОВСКАГО ПСИХОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА при содъйствіи с.-петербургскаго философскаго общектва.

вопросы философіи

И

ПСИХОЛОГІИ.

журналъ,

основанный проф. Н. Я. Гротомъ и А. А. Абрикосовымъ. Γ ОЛЪ XXV.

Подъ редакціей Л. М. Лопатина.

Книга 125 (V).

НОЯВРЬ — ДЕКАБРЬ — 1914 г.



москва.

Типо-литографія Товарищества И. Н. Кушнеревъ я К⁰. Пимеконская ул., соб. домъ. 1914 г.

Основное нравственное противоръчіе войны.

Нътъ въ жизни болъе тяжелаго во всъхъ отношеніяхъ времени, какъ время войны. Ко всемъ обычнымъ бременамъ жизни, лежащимъ на душъ человъка, ко всъмъ затрудненіямъ личнаго пути, семейной жизни, экономическаго неустройства и общественно-политическаго разлада, война прибавляетъ новое и горщее бремя, которое своими разм'врами и своею остротою можетъ отодвинуть на второй планъ все остальное. Это бремя войны подавляетъ душу не столько количествомъ и объемомъ практическихъ задачъ и нуждъ, загромождающихъ собою весь жизненный горизонтъ, всю видимую перспективу творчества: здоровая дуща, полная энерги, только выростеть и окрѣпнетъ, справляясь съ заданіями, даже съ виду непомърными: Гераклъ будетъ ей прообразомъ, и тяжкій молотъ труда выкуетъ изъ нея поистинъ непобъдимый булатъ. Война подавляеть душу человъка качествомь и содержаніемы тъхъ заданий, которыя она обрушиваетъ на насъ, независимо отъ того, подготовились ли мы духовно къ ихъ разръшенію или нъть. Нравственно противорьчивый характерь этихъ заданій составляеть ихъ главную тяготу.

Съ того момента, какъ начинается война, мы всѣ живемъ подъ гнетомъ этого противорѣчія; ощущеніе его не покидаетъ насъ даже въ тѣ минуты, когда мы повидимому забываемъ о немъ. Каждое извѣстіе, доходящее до насъ съ тѣхъ мѣстъ, гдѣ "наши" и "враги" истребляютъ другъ друга, обновляетъ въ насъ чувство этого противорѣчія, заста-

вляетъ душу вновь и вновь произнести сразу одному и тому же явленію "да" и "нізть". Мы непрерывно живемъ въ атмосферъ, заставляющей насъ сочувствовать тому, что обычно вызываеть въ насъ самое глубокое и ръшительное непріятіе: однако это обычное и оправданное непріятіе не покидаетъ насъ и во время войны, но страннымъ образомъ уживается съ опредъленнымъ чувствомъ удовлетворенія и смутнымъ, неопредъленнымъ полуоправданіемъ пепріемлемаго. Война какъ будто переворачиваетъ наши добрыя побуждения и наши нравственные принципы въ нъкоторыхъ основныхъ отношеніяхъ. Сознаніе безпомощно стоить передь непонятнымь и этически невозможнымь явленіемъ: повидимому совъсть даетъ сразу на одина вопросъ два противоричивых, два взаимно исключающихся отвёта. И передъ нельпостью и противоразумностью этого явленія душа теряется и не видитъ исхода: или совъсть не есть последній и несомненный источнике нравственной очевидности? или есть положенія, передъ которыми она безсильна? или inter arma умолкають не только законы, но и единый божественный законъ добра? или же древняя увъренность Канта въ томъ, что голосъ совпьсти есть въ то же время голосъ разума, покоилась на недоразумъніи?

Сомнъніе въ совъсти, какъ въ послъднемъ и высшемъ источникъ правственной очевидности—вотъ первое глубокое послъдствіе, къ которому философское сознаніе можетъ быть повидимому приведено войною. Въ самомъ дълъ, въ моментъ, когда бъда, требующая ръшительныхъ дъйствій, уже разразилась, когда нътъ времени для сосредоточеннаго предметнаго изслъдованія и ръшенія, когда правственно спокойнымъ можетъ быть лишь тотъ, для кого все на свътъ просто и ясно,—въ этотъ моментъ голосъ совъсти повидимому не въ силахъ "вывести насъ на дорогу". Практически говоря, противоръчивый отвътъ гораздо тяжеле, чъмъ полное отсутствіе отвъта: онъ даже не оставляетъ душу въ прежнемъ состояніи неувъреннаго вопрощанія, но обостряетъ ея неувъренность, не позволяя сказать ни од-

ному исходу ни цельнаго "да", ни цельнаго "нетъ". Какой бы исходъ ни выбралъ человъкъ, -смутное, по незаглушимое чувство правственнаю неодобренія объщаеть сопровождать его на его пути, и отъ этого раскалывающаго и обезсиливающаго душу чувства люди спасаются, какъ кто можетъ, стремясь въ огромномъ большинствъ случаевъ уже не къ нравственной правот и сознательности своего ръщенія, а къ его наименьшей жизненной и житейской обременительности; чувство привязанности, правосознаніе, темпераменть, давленіе общественнаго мивнія и, главное, личный укладъ безсознательной душевной сферы-довершаютъ остальное. Нравственно это выражается въ томъ, что душа незамътно, цълесообразнымъ распредъленіемъ свъта и тыии, создаеть для себя возможность сосредоточить вниманіе на отридательныхъ сторонахъ отвергаемаго пути и на положительныхъ чертахъ принимаемаго исхода; человъкъ уговариваетъ и заговариваетъ себя, онъ выплъсияетъ изъ сферы сознанія тяготящее и мучительное неодобреніе своего жизненнаго пути и приноровляется жить такъ, какъ если бы этого вытъсненнаго вовсе не было. Съ виду онъ получаеть оть этого изкоторое прагматическое преимущество; но на самомъ дълъ это преимущество имъетъ сомнительную ценность: подавленный призывъ совести можеть внезапно и быстро вспыхнуть въ видъ стихійнаго нравственнаго отвращенія къ себъ и къ своимъ поступкамъ и въ конецъ обезсилить душу; или же, въ худшемъ случав, душа, разъ заглушившая и исказившая въ себъ, да еще по такому огромному и острому нравственному вопросу, голосъ совъсти, -- заглушившая потому, что она не сумъла интуитивно доискаться ответа, или мужественно выслушать его, или неискаженно выразить его въ разумныхъ терминахъ, - душа теряетъ довърів иг совъсти, желаніе испытывать ея голось, или даже способность найти къ ней какой-нибудь доступъ. Конечно не эпима только, но отчасти и этими, объясняется то своеобразное нравственное утомленіе и отупъніе, которое обнаруживается иногда въ людяхъ послѣ войнъ и послѣдствія котораго проникаютъ потомъ во весь строй жизни, воспитанія, общественности и религіи воевавшаго парода.

Позволительно ли убивать челов ка? Можетъ ли человъкъ разръщить себъ по совъсти убіеніе другого человъка? Вотъ вопросъ, изъ котораго, повидимому, выростаетъ основное нравственное противоръчие войны. Правда, этотъ вопросъ ставится передъ нравственнымъ сознаніемъ не только войною, но и каждою смертною казнью, каждымъ уголовнымъ и политическимъ убійствомъ. Однако къ обявательному участно вы организованномъ массовомъ убіенім люди привлекаются только въ эпоху войны, будь то гражданская война, въ ея единичныхъ или повсемфстныхъ вспышкахъ или война международная. Можно, конечно, попытаться смягчить эту заостренную постановку вопроса и свести чуть ли не всю войну къ цепреднамъренной стръльбъ по "невидимому за разстояніемъ непріятелю" 1). Однако современная стратегія совершенно опредъленно признаетъ, что побъда состоитъ въ пораженій живой силы противника, и что изъ четырехъ способовъ достигнуть этого, - убіенія, раненія, плененія и разсвянія, - наиболье двиствительнымъ и цвлесообразнымъ является первый. Разсвянный непріятель можеть придти въ себя и собраться вновь; раненый можеть выздоров'вть и вернуться въ строй; пльннаго нужно стеречь, перевозить и содержать; убитый-изъять изъ живой силы противника окончательно и требуеть минимальныхъ расходовъ на погребеніе. Изъ легкой раны и тяжелой раны, нанесенной непріятельскому воину-дъйствительные тяжелая рана; изъ тяжелой раны и смерти-цълесообразнъе смерть. Правда, правосознаніе новаго времени признало принципъ: "не дълать врагу больше зла, чэмъ сколько того требують цэли войны", но принципъ этотъ цененъ гораздо более тою нравственной тенденціей, которая за нимъ скрыта, чъмъ

¹⁾ Срв. Вл. Соловьевъ. Оправланіе добра. М. 1899, стр. 497.

своимъ формальнымъ смысломъ. Эта тенденція предлагаеть удовольствоваться простымъ выведениемъ изъ строя, не настаивать на окончательномъ и выгодномъ способъ, на истреблении живой силы противника; но прямая и непосредственная цъль войны предпочитаетъ истребленіе. Во всякомъ случав каждый идущій на войну не сомнівается въ томъ, что ему предстоить; стрѣльба по невидимому противнику имъетъ ту же задачу, какъ и стръльба по отчетливо рисующимся фигурамъ, и предполагаетъ у стръляющаго одинаковое намфреніе: огнестрфльное оружіе заряжается, а холодное оружіе оттачивается для живой силы непріятеля и если изъ несколькихъ тысячъ пуль въ действительности попадаетъ одна, то это происходитъ конечно не потому, что промахъ есть цъль и назначение выстръла. Точно также у идущаго на войну наивною была бы надежда на то, что именно ему то и посчастливится не убить никого въ сраженіи; плохъ тотъ воинъ, который на это надъется, ибо за надеждою всегда скрывается желаніе, чтобы осуществился предметь надежды, и это желаніе можеть въ критическій моменть удержать поднятую руку, толкнуть стръляющаго подъ локоть, задержать слова команды на устахъ командующаго и нанести непоправимый вредъ общему дълу. Непріятель идеть на нась не съ тъмъ, чтобы сдаваться или бъжать при приближени нашихъ солдать, но съ тъмъ, чтобы взять ихъ при отсутствии сопротивления и убить ихъ, если они будуть сопротивляться. Сражение непрерывно ставить сражающагося въ такое положение, при которомъ неискусно и неумъло наносящій раны и причиняющій смерть, или нежелающій ранить и убивать, предаеть свое дело, оставляеть свой народь беззащитнымь и содъйствуетъ насильникамъ, идущимъ его поработить и эксплуатировать.

Нътъ ничего болъе труднаго, какъ "доказывать" върность нъкоторыхъ, повидимому, основныхъ аксіомъ, истинность которыхъ кажется столь очевидной и несомнънной, что отпъ нихъ можно основываться, на нихъ можно основываться,

но врядъ ли возможно привести соображенія их подтверждающія и обосновывающія. Къ числу такихъ нравственныхъ аксіомъ принадлежитъ недопустимость убіенія человъкомъ человъка.

Въ убійствъ человъка есть нъчто послъднее и страшное; мы всъ это остро чувствуемъ, но лишь съ трудомъ можемъ сказать, что именно ужасаеть въ немъ нашу мысль и вызываеть въ насъ чувство такого давящаго гнета. Повидимому три основныхъ мотива имъютъ здъсь ръшающее значене.

Во-первыхъ, глубина и таинственность самого процесса жизни и смерти. Жизнь--это легкое, естественное состояніе наше, столь привычное и столь незамітное, пока ничто близкое и острое ему не угрожаетъ, столь простое, что никто изъ насъ не сумълъ бы даже разсказать, въ чемъ оно состоить, и что это мы дълаемь, чтобы "жить", какъ "это" намъ удается, ---жизнь въ самой сущности своей, въ самомъ качествъ своемъ не разложима ни на какіе составные элементы, но и въ началъ, и въ концъ, и во всемъ теченій своемъ остается передъ нами реальной тайной, которую легко испытывать, но трудно изследовать, которую можно безъ конца описывать, которую мы можемъ разрушить, но которую мы не можемъ возсоздать. Новая жизнь можеть загоръться отъ насъ; и тъмъ не менъе тайною жизни мы не владвемь. Мы можемь остановить эмпирическую жизнь человъка; и тъмъ не менъе мы не владъемъ и тайною смерти. Сокровенную природу жизни и смерти мы испытываемъ, какъ реальный предъль нашего изволенія, нашего нестъсненнаго пълеполаганія, нашего усмотрънія и распоряженія. Самое проникновенное аналитическое описание процесса жизни и смерти остается познавательной рефлексіей и не даеть намъ господства надъ реальною жизнью и реальною смертью. То, что живеть-живеть "само", и, когда оно склоняется къ своему концу, мы слишкомъ скоро убъждаемся въ своей безпомощности. Жизнь есть начто совершающееся "ді адтой", "а se ipso", и передъ этою тайною внутренней самочинности человъкъ искони испытываль чувство религіознаго благоговънія. Это чувство религіознаго благоговънія и побуждаеть человька обращаться внутренно къ Божеству во всъ тъ моменты, когда онъ прикасается реально къ этимъ тайнамъ, когда онъ испытываетъ ихъ ходъ и свершеніе. Это чувство можетъ быть выражено такъ: "здъсь я не властенъ; здъсь воля моя безсильна; здѣсь воля Высшаго". Безхитростное сознаніе проще всего выражаеть это знакомое всемь намъ ощущеніе словами: "такова воля Божія". При такомъ ощущени убиство естественно испытывается, какъ насильственное и произвольное вторжение въ сферу Божественной компетенціи и премудрости. Въ вопросъ жизни и смерти человъка-человъкъ не властенъ; вотъ эта древняя и коренная увъренность, живущая въ душахъ людей. Это человъку не подчинено и нътъ у него полномочія ръшать, когда кому следуеть окончить жизнь. Устами стоиковъ человъческое міроощущеніе признало, что жизнь есть прекарный дарь Божества, т.-е., что давшій жизнь можеть въ любой моментъ отозвать изъ жизни; въ старину сознаніе этой прекарности распространялось до изв'єстной степени и на родителей и это находило между прочимъ выражение въ томъ, что въ древнемъ правъ чадоубийство считалось не квалифицированнымъ, а привилегированнымъ преступленіемъ. Лишить жизни властенъ тотъ, кто властенъ дать ее и не дать, чье целесознательное изволение владеетъ тайною жизни и смерти. И когда человъкъ убиваетъ человъка, то въ сознани людей встаетъ естественный вопросъ: "кто ты, что дерзаешь?" Ты берешь, чего не далъ; ты разрушаешь, чего не создаль и чего создать не можешь; кто же ты, что дерзаешь? Убийство есть всегда, по самой сущности своей, актъ возстанія и самовознесенія надъ убиваемымъ; ибо ръщающій о срокахъ жизни другого присвоиваетъ себъ по отношенію къ нему послъднюю и величайшую власть, какая только можеть существовать на свыть: jus vitae ac necis. Убивающій ставить себя въ

положение господина и владыки; мало того онъ узурпируетъ Божіе дъло и посягаетъ на Божеское званіе. Для того, чтобы прекращение жизни было действительно обосновано и мотивировано, какъ благо, необходимо поистинъ сверхчеловъческое выдъние о путяхъ убиваемаго, о судьбъ его въ мірь и слідовательно о судьбахъ и путяхъ міра въ цівломъ. Міроощущеніе человька приписываеть такое выдініе только Богу; знаніе же людей безсильно рѣшать и рѣшить эти вопросы. Но въ такомъ случат убіеніе человька не можеть быть ни обосновано, ни мотивировано. Оно остается актомъ не оправдываемаго произвола. Мало того, убійство въ самой сущности своей, независимо отъ случайныхъ переживаній убивающаго, есть акть величайшей гордыни: въ немъ кроется не только вознесение себя надъ убиваемымъ человькомъ, но и равнопоставление себя Божеству. Человъкъ присвоиваетъ себъ по отношению къ убиваемому силу и власть Провидьнія, того совершеннаго дъятеля, изволеніе котораго свободно отъ предъловъ и нормъ. Убивающій слагаеть съ себя последній предель, переступаеть самое страшное и вступаетъ въ сферу вседозволенности. Достоевскій съ разительной силою указаль на эту предметную связь между правомъ на убійство и моральною вседозволенностью. Однако все дозволено не тому, кто захочеть "взять" власть, кто "осмълится" и посягнеть. Все дозволено тому, кто обладаетъ совершенного волею и совершеннымо знаніемъ и кто, въ силу этого, не можетъ сотворить зла и совершить убійства; и потому, когда Богъ отзываеть человъка изъ жизни, то онъ не убиваетъ, а полагаетъ ей конецъ. Убивающи же посягаеть на присвоение себъ Божия совершенства и не понимаеть, что въ самомъ посягании скрытъ высшій приговоръ ему; ибо совершенная воля уже не спрашиваетъ, не порывается и не посягаетъ, а непосредственно осуществляетъ законъ своей совершенной природы. Воть почему мы испытываемь по отношению къ убивщему то, эмпирически нередко ничемъ не оправдывающееся, смутное чувство ужаса и напряженной любознательности, которое вызываеть въ насъ образъ ангела без-

Второй мотивъ, заставляющий насъ тяготиться всякимъ убійствомъ, есть исключительная и абсолютная нелюбовность этого акта. Какова бы ни была степень одухотворенности любви, на что бы ни была направлена ея сила, любовь спаиваетъ живымъ творческимъ образомъ любящую душу съ любимымъ предметомъ. Творчество любви состоитъ именно въ этомъ своеобразномъ, не поддающемся отвлеченному пониманию, сняти предълова между объими сторонами. Видимое эмпирическое разъединение и уединенная замкнутость душъ остаются по вныпней формы и не исчезають. Но любовное отношение есть способъ жизни, реально преодолевающий эту атомистическую изолированность. Начиная отъ элементарнаго и поверхностнаго учета чужого существованія въ формахъ приличія и въжливости, восходя черезъ любезность и деликатность къ любовному общению и дъйствительной любви, человъчество выработало целую сложную сеть пріемовь и способовь взаимнаго нравственнаго пріятія и взаимнаго нравственнаго проникновенія. Знаніе души о душь остается всегда ограниченнымь и скуднымъ; но живое чувствование, слагающееся на путяхъ предметно воспитанной и развитой интуиціи, можеть давать неожиданные, ошеломляющие по силь адэкватнаго проникновенія результаты. Любящая душа живеть и общается посредствомъ художественнаю вчувствованія въ реальную жизнь людей. Это вчувствование совершается черезъ миксимальное пріятіе чужой жизни интересомъ, воображеньемъ, волей и мыслью любящаго; душа, пріемлющая чужой интересъ и чужое солержаніе, сосредоточиваетъ свое вниманіе и свою активность на осуществленіи, удовлетвореніи, раскрытіи и совершенствованіи принятаго; она перестаетъ испытывать чужое, какъ чужое, но испытываетъ его, какъ свое. Любовь есть процессь реальнаго духовнаго отождествленія любящаю ст любимымі; въ результать его возникаеть тождество, но, конечно, не то совпадающее единство одинаковыхъ смысловыхъ содержаній, о которомъ трактують учебники логики, но та неразрывная сращенность, то реальное цълое, которое слагаетсяи въ различнаго и ведетъ къ живому творческому богатству. Когда любовное отношеніе взаимно и прілтіє сопровождается отдачей, тогда это тождество субъектовъ раскрываетъ нъкоторую метафизическую глубину въ общении людей, реальность которой признавалась и сущность которой описывалась неоднократно въ исторіи философіи. Такая жизнь даетъ возможность убъдиться въ томъ, что, въ сущности говоря, каждый изъ насъ чувствуетъ постоянно, хотя крайне рѣдко даетъ себъ въ этомъ отчетъ: во реальной живой соединенности встых людей. Эта соединенность состоить не только въ томъ, что душа каждаго изъ насъ носитъ и сосредоточиваетъ въ себъ безчисленное множество нитей, связующихъ ее живымъ образомъ съ другими людьми, или что душа наша непрерывно, даже въ одиночествъ, содрогается отъ уколовъ общенія и сама наносить ихъ, нерѣдко даже не подозрѣвая объ этомъ; но самая пронизанность души этими нитями раскрывается для того, кто ихъ любовно культивируетъ и завязываеть, какь непрерывная, сплошная связь вспхо со вспми; эту непрерывную соціально-духовную ткань жизни любящая душа культивируеть, растить и совершенствуеть, тогда какъ нелюбящая душа рветъ ее, комкаетъ и деградируетъ, страдая сама и причиняя страданія другимъ.

Любовь раскрываеть людямь не то, что всв люди должны связаться психически и духовно въ живую непрерывную сплошность; во, что они уже связаны такъ, рады они этому или не рады, хотять этого или не хотять; раскрывъ это, она указываеть имъ и высшую цвль ихъ жизни,—въ одухо-твореніи и установленіи творческой сопринадлежности душь. Душа, живущая обычно въ ощущеніи этого реальнаго живого всеединства душь, привыкаеть къ нему настолько, что каждое проявленіе розни и вражды, каждый недостатокъ со-чувствія и едино-чувствія, со-мыслія и едино-мыслія, каждое отсутствіе едино-страданія и едино-радованія, вызываеть

въ ней скорбь и горе. Въ то же время она твердо знаеть, что каждый добрый порывъ, каждое нравственное усиліе, каждое благое дъяніе есть дъйствительное, истинное завоевание всего человичества; ибо даже тв, кто не узнають ничего о самомъ порывъ, усили и дъяни, не узнають въ чемь онь быль, и не узнають даже вообще, что онь быль,получать незамьтно и понесуть въ себь и передадуть другимъ его плоды и отражения; а если этотъ порывъ и это дъяніе найдуть себь любовную встръчу и любовное отражение, то сила ихъ удесятерится, передаваясь отъ души къ душъ. Но такая душа знаетъ также, что каждый разрывъ въ соціально-духовной ткани, каждый актъ отторженія, обиды и насилія умножается въ душахъ людей по тому же самому закону и такъ же точно передается отъ души къ душъ, особенно если сила любви не успъваетъ во время погасить его разрушительный огонь и исцалить состоявшеся разрывы. Въ этомъ въдъни и въ этомъ дъланій живеть такая душа потому, что она постоянно и подлинно испытываеть, что родь человыческій душевно и духовно единъ; душевно единъ-ибо живетъ въ сплошномъ реальномъ взаимодъйствии; духовно единъ-ибо творчески восходитъ къ единой истинъ, единому добру и единой красотъ. Философія не разъ пыталась дать разумное выраженіе этому міроощущенію, смутно и неръдко искаженно изображавшемуся и въ различныхъ религюзныхъ теченіяхъ, и намъ достаточно здъсь указать на это для того, чтобы снять съ себя возможный упрекъ въ произвольномъ изобрътении.

Вотъ этотъ-то нравственно-духовный строй и порядокъ нарушается и разрушается сильные всего человыкоубійствомъ. Убійство есть не только отказъ отъ любовнаго признанія этой связи между человыкомъ и человыкомъ, но рышительное упраздненіе самой возможности возстановленія и поддержанія этой связи въ будущемъ. Убивающій ставить себя къ убиваемому въ отношеніе полнаго нравственнаго отрыва, такого отрыва, который вообще ни при какихъ условіяхъ не можетъ состояться между людьми; потому что даже

ненависть, доведенная до такой степени, что у человъка чернъетъ въ глазахъ при видъ врага, и бълый свътъ кажется ему отвратительнымъ отъ того только, что тотъ существуеть, -- даже такая ненависть есть лишь выражение огромной трагической связи, спаявшей ненавидящаго съ его врагомъ: правда, эта связь выродилась и деградировала, но интенсивность ея только упрочилась и часто за нею скрывается возможность страстной привязанности. Убивающій слівпъ къ этой связи, скрівпляющей его съ его жертвой: онъ чувствуетъ себя оторвавшимся и чувство этого отрыва необходимо ему для того, чтобы преодольть всь внутреннія сдержки и моральные запреты. Наличность любовнаго, художественно вчувствующагося отношенія дълаетъ убійство невозможнымъ 1). Убійство предполагаетъ разрывъ и ожесточение. Оно предполагаетъ сознание или ощущение окончательной невозможности склонить, убълить или исправить; и, съ другой стороны, совершенную исключенность самопочинной и добровольной уступки. Оно предполагаетъ следовательно такое, наличность чего не можеть быть ничемъ доказана; ибо где же и въ чемъ предълъ убъжденій и доброй воли? Убивающій не можетъ помнить объ этомъ; ибо, если будетъ помнить, то не убъетъ. Онъ долженъ быть твердо увъренъ, или увърить себя, что ему осталось одно только средство: сила и страхъ силы. И даже не сила, потому что убить можеть и слабый, если онъ хитеръ или ловокъ; не сила, а явное или тайное насиліе. Въ той душевной атмосферъ, зрълымъ плодомъ которой является убійство, любовность разлагается и вытьсняется чуть ли не во всъхъ своихъ составныхъ элементахъ: чувство живого тождества уступаетъ свое место ощущенію законченной противоположности; вмѣсто едино-чувствія воцаряется безжалостность и ощущение несовивстимости; вивсто уступчивой щедрости выступаеть непреклонный animus sibi habendi; насиліе возносится надъ, убъжденіемъ;

¹⁾ Кажущимся исключеніемъ являются тѣ случаи, когда убійства являются скрытою формою самоубійства.

страхъ и подозрѣніе вытѣсняютъ довѣріе; гаснетъ уваженіе и доброжелательство; человѣкъ видитъ въ человѣкъ зловредность, подлежащую искорененію, и позволяетъ себъ все.

Такова смутная и далеко не всегда цъликомъ представленная и развитая психика того, кто нападаеть для убіснія. Именно основныя указанныя черты ся готовять убивающему глубокій и мучительный кризисъ. Этотъ кризисъ вызывается, во-первыхъ, тъмъ обстоятельствомъ, что никакія, ни субъективныя, ни объективныя условія, не могутъ сдълать убійства нравственно обоснованнымъ, или хотя бы только доказать, что оно было единственнымь и поэтому неизбижнымо средствомъ. Правда, положение того, кто убиль въ состоянии необходимой обороны, является повидимому менъе тяжкимъ въ нравственномъ отношении. рднако и передъ нимъ можетъ встать вопросъ: такъ ли ижъ цънна была та цъль, ради которой онъ обратился къ этому "неизбъжному" средству и такъ ли ужъ "неизбъжно" было само средство? Во всъхъ случаяхъ убійство можетъ и должно испытываться какъ своего рода нравственное testimonium paupertatis, которое выдаль себъ убившій. Ибо никакой и даже самый утонченный казуизмъ не будетъ въ состояни доказать, что "не было другого исхода". Много оправданій и отговорокъ можно придумать здісь, чтобы успокоить встревоженную душу и заставить умолкнуть взывающую совъсть. Но, если прислушаться къ ея какъ всегда максимальному зову и формулировать его точно, то встанетъ вопросъ: все ли ты сдълалъ въ жизни своей для того, чтобы убійство не стало для тебя "единственнымъ" и "неизбъжнымъ" средствомъ? Всъ ли силыты положиль на то, чтобы не было на свътъ людей способныхъ къ такому глубокому выпаденію изъ живого всечеловъческаго братства? Не вернулась ли къ тебъ въ этомъ нападении на тебя та незамътно разсъянная тобою по чужимъ душамъ масса обидъ, притъсненій и униженій, которая нынъ собрадась во-едино? Такіе вопросы поставить совъсть убившему въ состояни необходимой обороны. Что же испытаетъ тотъ, кто убилъ, нападая?

Но кризисъ, переживаемый убившимъ, оказывается еще болье глубокимь отъ того, что самый акть убійства устанавливаетъ между нимъ и павшимъ отъ его руки особую, мучительную по своей интенсивности и по отсутствио творческой перспективы духовно-правственную связь. И въ этомъ выражается съ полною очевидностью невозможность для человъка разрушить духовную ткань человъческаго всеединства. Ощущение этой связи, сковывающей убившаго съ убитымъ, можетъ достигнуть сознанія очень быстро, какъ только спадетъ отреагированная волна посягнувшаго ожесточенія. Моменть убійства, оказывается тогда, сталь роковымъ не только для убитаго, но и для убившаго; этотъ моменть, въ который онь чувствоваль себя ръзко порвавшимъ нить общечеловъческой связи и нравственнаго соединства, возставшимъ и захватившимъ Божескія права надъ убитымъ, позволившимъ себъ все и въ такую сторону осуществившимъ эту вседозволенность, тотъ моментъ, когда онъ совершилъ свое непоправимое дѣло и въ ожесточени душевномъ взялъ на себя роль судьбы въ жизни убитаго, этотъ моментъ самою остротою и безмърностью своею приковываеть его душу къ себъ и къ непроявляющейся больше, умолишей душъ погибшаго. Человъку свойственно вообще по многу разъ переживать заново свои поступки; эта работа воображения можетъ имъть, какъ показалъ психо-анализъ, огромное катартическое значение, но при неумълости и безпомощности она можетъ настолько же сковать свободу жизни, сдълать душу рабомъ ея прошлаго и въ острыхъ случаяхъ увести ее въ прямой недугъ. Убійство является для убившаго истиннымъ душевнымъ раненіемъ, приковывающимъ его интимною, единственною въ своемъ родъ связью къ убитому; воображение его, какъ бы преследуемое фуріями, непрестанно влечется вспять, отдаваясь сразу двумъ противоположнымъ жаждамъ: пережить убійство, какъ несостоявшееся, а себя, какъ не убившаго, и въ то же время повторить моменть убійства съ его опьянениемъ состоявшагося посягательства, разрядившагося ожесточенія и осуществленной вседозволенности. Душу обуреваеть мучительная смёсь изъ жалости и ожесточенія, и ни одно изъ этихъ противоположныхъ чувствъ не можеть найти себь творческаго исхода, потому что человъка, на которомъ теперь сосредоточились эти настроенія и на котораго обрушилось нікогда ожесточеніе, нътъ среди живыхъ. Убійство есть истинный актъ жизненнаго и душевнаго саморазрушения, выполненный надъ собою: "Я себя убиль, а не старушонку! Туть такъ-таки разомъ и ухлопалъ себя навъки! А старушонку эту чортъ убилъ, а не я", восклицаетъ Раскольниковъ. Судьбы убившаго и убитаго скрещиваются и расходятся, сломленныя. Моментъ убійства раскалываетъ жизнь убившаго, освъщаеть ее всю поновому и возлагаетъ на нее перазръшимию проблему.

Именно съ этимъ въ тъснъйшей связи стоитъ третій мотивъ, пугающій и угнетающій наше сознаніе при каждомъ убійствь: это полная и безусловная непоправимость того, что имъетъ произойти и потомъ происходитъ. Правда, абсолютно говоря, непоправимо все, что происходить во времени: прошлое безразлично поглощаетъ все, что совершается и не въ нашихъ силахъ вообще сдълать что нибудь состоявшееся-небывшимъ. Съ этой точки зранія непоправима каждая обила, каждая неправда, каждый уколъ. Но въ другомъ отношении, въ другомъ порядкъ, въ порядкъ любеи-все это поправимо, ибо можетъ быть заглажено, исцълено и погашено. Обида еще не бъда и не трагедія, пока живъ обиженный; до тъхъ поръ остается еще творческій исходь; жизненная перспектива еще открыта, злая воля еще не затянула на себъ мертвую петлю. Еще не оборвалось таинственное, неповторяемое творчество индивидуальнаго міра; еще не утрачена возможность исправить тв раненія и убрать тв жизненныя препоны, которыя обидчикъ внесъ и воздвигъ на пути восхожденія этого міра къ добру и духу. Убійство, наобороть по самой сущности

своей носить характерь безвозвратности; духовный отрывь и духовное возстание получають въ немь окончательное, непоправимое выражение въ видъ тълесновещественнаго разрушенія. Убивающій готовить себ' моменты самаго тяжкаго, самаго подавляющаго безсилія: духовнаю безсилія передъ вещественной невозстановимостью, имъ самимъ вызванною къ бытко. Вообще говоря, страшно не умереть, а умирать; страшна не смерть, а непоправимость; страшно это сознаніе, что "больше никогда". И воть передъ этимъ "никогда" убивающій ставить и себя и убиваемаго и притомъ въ самый тягостный моментъ для обоихъ-въ моменть ощущенія себя вырваннымь изъ живого реальнаго всечеловъческаго единства. Переносить отвращение и ненависть вообще мучительно; видъть, что другой унижаетъ себя до ненависти по отношенно ко мит и чувствовать, что онъ переживаетъ меня, какъ униженное въ его воображении и отвратительное ничтожество, является великой тяготою. Но почувствовать себя лицомъ кълицу съ человъкомъ или съ людьми, которые ожесточились до такой степени, что видять въ убіеніи меня и друзей моихъ главную цъль своей сознательной напряженной деятельности и чуть ли не высшій подвигь своей жизни; увидьть это воочію, почувствовать на себъ хотя бы на мигъ всю сосредоточенную силу этого окаяннаго ожесточенія и въ этотъ мигъ умереть, въ сознани своей отторженности и извергнутости, есть поистинъ величайшая духовная мука изъ возможныхъ на земль. Здысь подавляеть духовно та сила озлобленія, которая можеть скапливаться и загораться въ людскихъ сердцахъ и которая можетъ быть ни въ чемъ такъ ярко не выражается, какъ въ приговорахъ къ смертной казни: одиночное заключение закрыпляеть чувство отторженности, а процессуальные и формальные сроки превращають смерть въ медленное умираніе.

Эта непоправимость, объективно говоря, выражается въ томъ, что убитый уносить съ собою сложный и неповторяемо своеобразный міръ, прогрессивное восхожденіе и

одухотвореніе котораго насильственно обрывается актомъ убійства. Прекращеніе этого жизненнаго потока вносить сразу цълое опустошение въ обставший его соціальный кругъ. Каждый, знавшій умершаго, чувствуетъ, какъ въ его собственной душъ ликвидируется цълый секторъ живыхъ взаимодъйствій, чувствъ и отношеній; какъ угасаеть живая часть его личности; какъ образуется пустота и зіяніе въ его міроощущеній. Это и иміть въ виду Шлейермахерь, когда говориль, что уходъ друзей изъ жизни есть не ихъ смерть, а умираніе оставшагося друга. И воть на этихъ путяхъ прежде всего, хотя не только на нихъ, убійство ранитъ и вовлекаетъ въ свое дѣло широкую общественную периферію. Каждый, коснувшійся убійства черезъ знакомство съ одною изъ сторонъ или по разсказамъ, оказывается участникомъ ero post factum, переживая, часто незамътно для самого себя, воображениемъ, чувствомъ или даже хотынемь совершившееся дыло, входя черезь художественное отождествление то въ положение убивающаго, то въ положение убитаго, силясь "понять", т.-е. реально пережить, какъ свое, то, что тамъ произошло. Есть и въ обычное время особые любители, которые посъщають засъданія суда, посвященныя разсмотранію даль объ убійства, которые любять раздирающія драмы и кинематографическіе ужасы. Эпоха войны заставляеть, можеть быть, вспхи наси пережить въ воображеніи перестрълку, каваллерійскую атаку и штыковой бой; она дълаетъ всъхъ насъ, и сражающихся и несражающихся, соучастниками и совиновниками въ организованномъ и планомърномъ убивании. И нътъ нравственныхъ основаній къ тому, чтобы мы закрывали себ'в на это глаза.

Никто не вздумаетъ утверждать, что каждое убійство, происходящее на полѣ сраженія, сопровождается въ душѣ убивающаго переживаніемъ вспхъ указанныхъ мотивовъ и ихъ оттѣнковъ. Самая форма войны и ея объявленія смягчаетъ одно, облегчаетъ другое, освобождаетъ, повидимому, душу отъ третьяго. Прежде всего самое рѣшеніе убивать

не падаеть встьма своимь бременемь на душу убивающаго. Участие въ войнъ есть для каждаго участника актъ повиновенія вишнему приказу, который исходить отъ органовъ государства, дъйствующихъ на основани правовыхъ полномочій; для огромнаго большинства правовымъ вельніемъ опредъляется и самая обязанность участвовать, и форма участія, и моменть дійствія оружіємь. Всіз тіз, кто признають и испытывають моральное значение государственнаго сожительства и повиновенія праву, получають въ этомъ нъкоторый противовъсъ по отношению къ категорическому "запрету", идущему отъ совъсти. Однако этотъ противовъсъ, облегчающій съ виду моментъ выбора и ръщенія, на самомъ дълъ только затрудняетъ и осложняетъ его. Глубокое нравственное "отрицаніе", принятое волею и раскрытое разумомъ, сталкивается съ признаніемъ того моральнаго значенія, въ которомъ нельзя отказать развитому правосознанию и добровольному право-повиновенію, и здісь обнаруживается то первое и въ сущности самое поверхностное нравственное противоръчіе, которое встаеть въ душь человъка во время каждой войны, и которое каждый изъ насъ долженъ выносить и рышить индивидуально. Состоится ли война - это не зависить отъ индивидуальнаго рфшенія воина; но будеть ли онт въ этой войнь убивать, это дъло его совъсти и его самостоятельнаго, одинокаго ръшенія. И съ точки зрънія соціальной исихологій нужно сказать, что та война, въ которой большинство индивидуально ръшающихъ душъ не имъетъ глубокихъ и духовно значительныхъ посужденій, могущихъ вызвать въ душт рышимость не избъгать убійства и не останавливаться передъ нимъ, есть война заранъе обреченная на неудачу.

Далье, тоть основной противо-любовный отрывь, который лежить въ основани всякаго убійства, не падаеть въ войнь всею своею тяжестью на индивидуальную душу. Онь облегчень уже тымь однимь, что накопленіе враждебной энергіи совершается всымь соціальнымь коллективомь; это накопленіе начинается задолго до войны; оно идеть

незамътно нарастая; оно питается самыми корнями экономическаго, національнаго и политическаго строя, мало того, самыми глубокими слоями общаго психическаго уклада человъка и его біологической организаціи; наконець, оно разряжается одновременно, для всъхъ одинаково, бросая народъ на народъ, и ставя личное сознание передъ совершившимся фактомъ объявленной войны. Мы всъ живемъ, неръдко сами того не замъчая, - огромною силою инерци, пріемля весь основной укладъ жизни, нашедшій себь бытовое и юридическое закрѣпленіе и прочную поддержку, непреодолимую, конечно, для индивидуальныхъ, разрозненныхъ силь. И воть каждый изъ насъ, всю жизнь участвуя въ колоссальномъ накоплении враждебной энергии, всю жизнь не выходя изъ строя общественныхъ отношеній, основаннаго именно не на щедрости, не на довъріи и любовности, жаждый изъ насъ въ моментъ объявления войны полагаеть, что онъ "неповиненъ" въ стрясшемся несчасти и что причины бъды лежать въ чьихъ-то ошибкахъ, въ чьемъ-то чужомъ упорствъ и хищничествъ. Соціальная дифференціація вводить насъ здъсь въ жестокое заблуждение: государственный органь, учитывающій конфликть, констатирующій невозможность дальнейшихъ мирныхъ переговоровъ и организующій военное осуществленіе распри, является въ нашихъ глазахъ виновникомъ и чуть ли не создателемъ столкновенія. Вина перелагается съ насъ, мы умываемъ руки и облегчаемъ себъ самочувствіе слъпотою.

Безспорно, въ сражени индивидуально опредъленная вспышка ненависти и ожесточения появляется неръдко лишь въ самый послъдний моментъ рукопашнаго боя; но враждебное настроение должно неизбъжно питаться всъмъ огромнымъ коллективомъ армии. Общая солидарная враждебная напряженность снимаетъ съ личной души бремя индивидуально вынашиваемой и индивидуально направленной ненависти и этимъ до извъстной степени объясняется то быстрое смягчение, которое обнаруживаютъ иногда атакующие солдаты по отношению къ несопротивляющемуся,

индивидуально сдающемуся въ пленъ врагу. Однако бываеть и такъ, что, ворвавшись въ траншею врага, солдаты перекалывають всъхъ безъ разбора. И, если вспомнить призывъ германскаго императора, обращенный къ отправлявшимся въ Китай отрядамъ: "не давать пощады", и если подумать о тёхъ ложныхъ свёденияхъ, которыя распространены въ германской армии по вопросу о томъ, какъ обходятся русскіе съ военноплінными, и т. д.-то нужно будетъ признать, что уровень коллективнаго ненавистничества можеть быть доведень въ индивидуальныхъ душахъ до очень высокой черты. Самая система вооруженнаго мира свидьтельствуеть о томъ, какіе колоссальные запасы вражды и страха скапливаются въ людяхъ и народахъ; достаточно подумать о томъ, сколько решимости убить укрывается въ каждой выдъланной въ мирное время шрапнели и гранать; сколько силы и энергіи полагается каждымъ народомъ на то, чтобы сообщить милліонамъ людей умізніе цълесообразно управлять орудіями смерти; съ какимъ удовлетвореніемъ мы узнаемъ о каждой малфишей побъдъ, одержанной нашими войсками, "отвлекаясь" будто бы при этомъ отъ мысли о числъ убитыхъ враговъ; достаточно обратить внимание на тотъ ненавистнический, подчасъ прямо кровожадный тонъ, въ которомъ ведется вся мало благородная пресса воюющихъ странъ, и мы признаемъ, что всякая война безъ исключенія есть нравственно виновное дыланіе. Эту виновность войны чувствують нер'вдко и сами сражающиеся, особенно тъ, кому пришлось пережить бой на близкомъ разстояни; потому они неръдко и уклоняются отъ любопытствующихъ, неделикатныхъ разспросовъ.

Напрасно было бы пытаться умалить виновность, испытываемую каждымь изъ насъ во время войны, ссылкою на то, что сражающися самъ идетъ на смерть, или указаніемъ на то, что война ведется въ открытую. Личная опасность, которой подвергается убивающій, нисколько не умаляетъ его вины, котя его самоотверженіе и его мужество могуть сіять изъ-за этой вины истиннымъ нравственнымъ дости-

женіемь. То обстоятельство, что война ведется въ открытую также не мъняетъ дъла; во время дуэли - открытой опасности подвергаются объ стороны и тъмъ не менъе убійство, состоявшееся на дуэли, остается убійствомъ. Никто не подумаетъ приравнивать убійство въ сраженіиковарному нападенію изъ-за угла, совершаемому убійцею изъ личной корысти. Убійство въ сраженіи нельзя назвать ни гнуснымъ, ни трусливымъ, ни лично-корыстнымъ дъломъ; хотя отъ коварства и жестокости оно нередко не свободно. Мало того, сражающійся проявляеть почти всегда высшее жизненное самоотвержение; но и это не мъняетъ сущности разсматриваемаго нами вопроса: мертвое разсудочное учение о сверхдолжныхъ делахъ слишкомъ ужъ наивчо въ своемъ формальномъ количественномъ подходъ къ добру и злу, для того чтобы современное утонченное чувство отвътственности согласилось принять его и примънить къ личной жизни. Война, какъ организованное убіеніе, остается нашею общею виною, которая справедливо тяготить даже тъхъ, кто самъ не участвуетъ въ сраженіяхъ: ибо мы слишкомъ хорошо понимаемъ, что мы не убиваемъ сейчасъ только потому, что за насъ убиваютъ другіе.

Наконецъ, не можетъ помочь и указаніе на то, что война начата не нами, а врагомъ, что мы находимся въ состояніи "необходимой обороны". Признакъ необходимой обороны, справедливо учитываемый правомъ, успокаиваетъ только ту душу, которая привыкла не безпокоить себя дъйствительнымъ голосомъ совъсти: пусть обороняющійся не замышляль убійства и не хотъль его; однако онъ его совершилъ и для развитого чувства отвътственности этого довольно. Далѣе, помимо этого, принципъ необходимой обороны, примъненный къ войнъ ради ея нравственнаго оправданія, даетъ очень поверхностное, внъщнее пониманіе этого стихійнаго коллективнаго процесса: война, какъ было только что указано, не есть явленіе случайное или произвольно созданное; наоборотъ, она есть зрълый и неизбъжный плодъвсею нашего жизненнаго уклада. Наконецъ, весь этотъ ар-

гументъ представляетъ собою попытку укрытъ вопросъ о личномо поведении и личной винъ за плечами коллектива, ръшитъ вопросъ о нравственной доброкачественности убиства — указаніемъ на то, что весь народъ вынужденъ защищаться отъ нападенія.

Но именно здъсь и обнаруживается та основная ошибка, которая кроется въ принципф: цфль оправдываетъ средство. Эта ошибка состоить въ томъ, что не различается вопросъ о правственной доброкачественности дъянія и вопросъ о практической цълесообразности его, какъ средства, ведущаго къ видимому осуществленію благой цёли. Нравственная доброкачественность дѣянія на самомѣ дѣлѣ разсматривается и констатируется совершенно независимо отъ его практической пригодности, важности или "неизбъжности". Вопросъ этотъ ръшается въ особомъ самостоятельномъ теоретическомъ разсмотрѣніи, имѣющемъ два этапа: преимущественно интуитивный и преимущественно рефлективный. Въ интуитивномъ разсмотръніи испытывается, раскрывается и осмысливается, само по себъ безсловесное и часто лишь смутно импульсивное, показание того исконнаго и первоначальнаго добраю желанія, которое обычно именуется совъстью; это показание бываеть всегда по существу максимально и раскрытіе его описываеть или формулируеть нъкоторый идеальный образь дъйствія, или способь чувствованія, или видъ отношенія. Второй этапъ состоитъ въ сопоставляющемъ сличени оцъниваемаго дъяния съ тъмъ идеальнымъ образомъ дъйствій, который формулированъ въ результать перваго разсмотрынія; совпаденіе черть того и и другого даетъ нравственное одобреніе дъянія, несовпаденіе—даетъ его нравственное неодобреніе. Такова, свиду, простая и элементарная схема того теоретическаго изслъдованія, которое въ осуществленіи своемъ, при правильной и углубленной постановкъ проблемы, неръдко ведетъ къ самымъ серьезнымъ осложненіямъ и затрудненіямъ; во всякомъ случав вопросъ о доброкачественности двянія рашается имъ окончательно и безповоротно, и никакія стеченія обстоятельствъ, никакія практическія осложненія и безвыходности не могуть изм'внить что либо въ этой оцінкъ;

Поэтому вопросъ о практическом исходо есть вопросъ самостоятельный, подлежащій особому разсмотрівню, и смішеніе этихъ двухъ вопросовъ нерідко ведеть къ самому опасному лицемірію. Различіе этихъ вопросовъ ясно уже изъ той, слишкомъ часто осуществляемой людьми возможности, при которой человіжь, отчетливо или смутно сознавая недоброкачественность извістнаго образа дійствій, тімъ не меніе избираетъ именно его, по соображеніямъ цілесообразности, не имінощимъ никакого отношенія къ правственности. И когда человікъ, поступая такимъ образомъ, все таки оставляеть въ своемъ сознаніи увіренность, что онъ выбраль "лучшій" исходъ, то онъ легко ділается жертвой злокачественнаго quaternio terminorum: ибо не всякій "лучшій" по цілесообразности исходъ есть "лучшій въ смыслів нравственной доброкачественности.

Жизненная "целесообразность" или даже "неизбежность" дъянія безсильна измънить что либо въ его нравственной недоброкачественности; потому что вопросъ о нравственной ценности увли и вопросъ о нравственной ценности средства суть два вполнъ самостоятельные вопроса. Нравственно-доброкачественное двяніе можеть быть post factum использовано для нравственно негодной цъли, и обратно: нравственно-негодный поступокъ можетъ послужить истинно ценному делу. Безспорно, человекъ, искренно преследу. ющій благородную ціль и обращающійся на своемъ пути къ нравственно предосудительнымъ средствамъ, менъе заслуживаетъ порицанія, чемь тоть, кто осуществляеть дурными делами дурную цель. Однако этика изследуеть сущность добра, т.-е. нравственно совершеннаго состояния души, и не творитъ суда надъ живыми и мертвыми людьми; этоть судь предполагаеть "обнаружение" вспха дъль и помысловъ; такое знаніе другь о другь не дается людямъ и отсутствіе его слишкомъ легко превращаетъ нравственный судь въ праздные пересуды. Осуждение или одобрение человика не то же самое, что осуждение или одобрение диния, и это принципіальное различіє въ предметь и акть сужденія слишкомъ легко забывается и затушевывается въ повседневномъ, нефилософскомъ обсужденіи правственныхъ вопросовъ. Можно преклоняться передъ человъкомъ и его сильнымъ, живымъ духомъ и въ то же время признавать составъ вины въ его дъяніи 1).

Замѣчательно, что вся эта постановка вопроса объ оправданіи дурныхъ средствъ благою цѣлью сложилась въ предълахъ этики, утратившей свое автономное значеніе. Эта постановка вопроса выросла не въ разсмотрѣніи по существу добра и зла, но въ религіозномъ обсужденіи простимости и непростимости грѣховъ, позволенности и непозволенности извѣстныхъ дѣяній. Извинить (excusare) и признать позволеннымъ (cui licitus est finis, etiam licent media) съ точки зрѣнія той или иной религіозной догмы, можно и завѣдомо дурныя дѣянія, какъ то и дѣлали іезуиты. И тѣмъ не менѣе "качество поступка" не "опредѣляется его конечной цѣлью."—

Никто не долженъ закрывать себъ глаза на нравственную природу войны. Муненія и убійства, которыя люди чинятъ другъ другу въ сраженіи, не станутъ ни благимъ, ни праведнымъ, ни святымъ дъломъ, какимъ бы цълямъ они ни

¹⁾ Залачей философін является прежде всего увести нравственное разсмотрвніе изъ той смутной и непосредственной, житейской атмосферы, въ которой неясность порождаеть не-предметное и неварное рашение; потому что интуитивно-предметная жизнь и житейское бываніе слишкомь часто являются враждебными другь другу. Величайшей ошибкой Вл. Соловьева является то, что онъ пытался разсмотрыть эту проблему именно въ формъ жимейской бестыди. Въ его "Трехъ разговорахъ" строгое формулирование проблемы отсутствуеть за житейскою ненадобностью; философскій анализь замънена (въ противоположность діалогамъ Платона) діалогическимъ разложені мъ на обывательскіе типы; настроеніе сходить за аргументь; личное удовлетвореніе, полученное къмъ-нибудь отъ своего поступка, принимается за испытаніе нравственной очевидности; ловкій обороть спора и ненаходчивость противника ведуть къ рышенію вопроса. Глубокія и предметныя вравственныя исканія Л. Н. Толстого переданы безъ пониманія въ форм'в несправедливой каррикатуры. Форма этого произведенія тёсно связана съ его содержаніемъ и все вмъсть только вагромовдило путь философскаго ивсльдованія.

служили. Но каждый разъ, какъ человъкъ, имъя возможность выбирать и ръшать, совершаетъ нравственно недоброкачественное дъяніе,—онъ несетъ на себъ вину; поэтому война есть наша общая великая вина никакія казуистическія или пробабилистическія соображенія не должны заслонять отъ насъ этого вывода.

Но что же остается дълать тому, кто признаеть это? Не участвовать въ войнъ. Повидимому непротивление нападающему есть единственный остающийся исходъ?

Ученіе о несопротивленій нападающеми, какъ объ одномъ изъ дъйствительных в нравственных средствъ борьбы со злыма и хишным в желаніем в нападающаю, было по справедливости недооцънено въ то время, когда его выдвинулъ Левъ Николаевичъ Толстой. Полагали, что достаточно указать на возможное исключение изъ общаго правила, и отъ идеи ничего не останется. А между тъмъ это далеко не такъ. Каждый разъ какъ человъкъ въ жизненной борьбъ обращается къ насилю, онъ долженъ сознавать, что отступаетъ отъ порядка любовной связи и выдаеть себъ нравственно testimonium paupertatis; онъ долженъ сознавать и признавать, что прибъгаетъ къ средству нравственно не оправдываемому, что онъ ставитъ человъческия отношения на почву страха и коварства, что онъ порываеть со строемъ, покоющимся на уважении, свободной очевидности, довърии и щедрости, что онъ вступаетъ на тотъ путь, естественнымъ предвломъ котораго является убійство. Каждый изъ насъ чувствуетъ, что "насиліе" и "насильникъ" суть термины, скрывающіе въ себъ нравственное осуждение; что обращение къ насилио должно имътъ каждый разъ какія то "исключительныя" основанія; что строй, покоющійся на насиліи, есть нічто нравственно одіозное и духовно невыносимое.

Однако принципъ, выдвинутый Л. Н. Толстымъ, глубже и шире, чъмъ это кажется на первый взглядъ. Онъ устанавливаетъ максимальную щедрость вз отдачъ того, чъмъ другой желаетъ завладъть; онъ устанавливаетъ ее какъ основную нравственно върную линю поведенія или, отвлеченно го-

воря, какъ норму. Но именно при этомъ углубленномъ понимании онъ и обнаруживаетъ свой естественный предълъ. На что же можетъ распространяться эта щедрость? Очевидно, на тъ конечныя и временныя блага, вещи и жизненныя удобства, -- которыми я владфю. Однако, на ряду съ такими конечными и временными благами, есть блага, образующія то, что слідуєть называть духовнымь достояніемь; это духовное достояние, принадлежащее свиду отдельнымь людямъ и народамъ, но представляющее собою поистинъ общечеловъческое духовное достояніе, не можеть стать предметомъ щедрой отдачи потому, что отдать значить здёсь предать и отречься. Какъ возможно, напримъръ, не противиться человъку, понуждающему меня къ совершению низкаго дъла? Въдь это значило бы отречься отъ своего человъческаго достоинства; а въ такомъ положении должна измънить всякая щедрость. Или какъ возможно не противиться народу, который возсталь для того, чтобы лишить насъ свободной самобытной жизни и насильственно подчинить насъ чуждымъ намъ формамъ и велъніямъ? Въдь это значило бы отречься отъ того, ради чего вообще только и стоитъ жить на свъть, отречься оть самозаконнаго служенія духу. Это было бы уже не шедростью, а духовнымъ самоубійствомъ.

Щедрымъ вообще можно быть только въ отдачъ того, что принадлежить самому щедрому. Нельзя предоставить сильному угнетать слабаго; нельзя быть щедрымъ въ отдачъ чужого блага или чужой жизни; нельзя дать поработить себя; нельзя дать истребить свой народъ и свое искусство; нельзя отречься отъ своихъ убъжденій и върованій. И если бы опасность грозила всъмъ этимъ духовнымъ благамъ или хотя бы одному изъ нихъ, то вопросъ о несопротивленіи нападающему палъ бы самъ собою. Въ сказкъ Л. Н. Толстого "Объ Иванъ дуракъ" война тараканскаго царя съ Ивановымъ народомъ кончается быстро отъ того, что дураки не обороняются, а добровольно отдаютъ свое добро насильни ающимъ соллатамъ; солдатамъ становится "скучно" и "гнусно", и войско разбъгается. Читая эту

сказку, невольно соглашаешься, что дуракамъ Иванова царства воевать не стоило. Но если есть въ жизни людей такое духовное достояніе, которое они любять больше себя и которое стоить защищать хотя бы цьною мученій и смерти, и если этому достоянію грозить опасность отъ нападенія насильниковъ, то какъ же не отозваться имъ доброю волею и готовностью на призывъ къ защить отъ нападенія 1)?

Бывають въ жизни человека такія положенія, когда вся прошлая виновная жизнь его приводить его къ необходимости взять на себя открыто и сознательно новию вини. И. если человъкъ оказывается неспособнымъ къ этому, то иравственная и духовная жизнь его терпить величайшее крушеніе. Эта необходимость не есть въ такихъ случаяхъ необходимость его личнаго интереса (напримъръ: посредствомъ новаго подлога скрыть цалый рядъ прежнихъ подлоговъ и злоупотребленій). Эта необходимость не есть и необходимость "нравственнаго долженствованія"; убить человька можеть быть деломь правовой обязанности, но не дъломъ нравственнаго долга. Необходимость убіенія обнаруживается въ порядкъ эмпирическихъ причинъ и слъдствій, или, говоря практически, въ порядкъ жизненныхъ цълей и средствъ. Слепая, жадная, безпомощная деятельность людей ставить ихъ въ такія реальныя условія, при которыхъ для нихъ не остается правственно праведнаго исхода, ибо всякое возможное действіе неминуемо включить въ себя дъянія, противныя голосу совъсти. Потому что совъсть при встах обстоятельствахь и во встах условіяхь сохраняеть свое значение неуклоннаго призыва къ максимальному добру и къ совершенному воленаправленію. Напрасно приписывать ей значение практического раздаятеля совътовъ, "соглашающагося на компромиссъ" или учитывающаго соображенія полезности и удобства: это значить превращать истиннаго

¹⁾ Правственное значеніе такой духовной обороны я пытался выяснить въ публичной лекцій о "Духовномъ смыслѣ войны", текстъ которой долженъ появиться въ печати въ самомъ непродолжительномъ времени.

даймонія въ житейскую опытность софиста. Совъсть несомнънно зоветъ насъ на защиту слабаго отъ сильнаго; на защиту свободной и достойной жизни; на защиту духовнаго достоянія; на самоотверженіе и самоотдачу. Необходимость же убивать встаетъ передъ нами въ порядкъ нашей эмпирической безпомощности и скопившихся тягостныхъ итоговъ всей нашей прошлой, правственно невърной жизни. Это средство не можетъ быть одобрено совъстью и должно быть принято нами какъ новая вина наша, со всъмъ мужествомъ и со всей бодростью сознательно живущаго духа. Непреклонная воля защитить и отстоять питается сознаніемъ нравственно праведной ціли; но ръшимость убить пріемлется сознаніемъ и волею съ ощущениемъ вины, какъ неправедное и духовно-мучительное средство, пріемлется съ ръшеніемъ: увести потомъ свою жизнь съ путей этой слъпой безвыходности. Такъ бываетъ въ тъхъ случаяхъ, когда длительное пренебрежение къ интересамъ духовной жизни, къ содержанию нравственныхъ требованій или къ судьбѣ духовнаго достоянія ставитъ подъ угрозу самую сущность или самую возможность достойной, творческой жизни. Въ такомъ положении человъку приходится, напримъръ, раскрывать накопившуюся въ жизни внутреннюю ложь, хотя бы другому пришлось вследствіе этого пережить тяжелый душевный кризись, грозящій ему смертью; въ такомъ положеніи человѣкъ, открыто и сознательно пріемля новую вину, идетъ на войну, спасая и отстаивая духовное достояние своего народа.

Въ этомъ принятии на себя послъдствій своего виновнаго дъланія, хотя бы они, какъ въ данномъ случав, имъли форму новой, тягчайшей вины, есть черта истиннаго героизма, трогающаго душу и не позволяющаго произнести слово осужденія. Мало того, именно на войнъ, эта ръшимость принять на себя новую вину выливается неизбъжно въ форму безкорыстнаго и самоотверженнаго, духовно творческаго напряженія, высота и чистота котораго не имъетъ подчасъ

равной себь. Нравственное противоръчие не разръщается и не устраняется въ этомъ героическомъ исходъ, но пріемлется и изживается во всемъ своемъ значении и во всей своей глубинъ. Это не значить, что такой путь ведеть къ диятельности, которая является всешьло предосудительной въ нравственномъ отношеніи; участіе въ войнѣ заставляетъ душу принять и пережить высшую нравственную тразедію: осуществить свой, можеть быть, единственный и лучшій, духовный взлеть въ формы участія въ организованномь убіеніи людей. Дівло людей на войнъ слагается изъ лучшаго и худшаго, изъ высшаго и низшаго и въ этомъ трагедія войны; она является зралымъ плодомъ ея ноавственной противоръчивости. Воть почему мы испытываемь войну, какь элосчастную тьму, въ которой загораются сленяще лучи света. И для того, чтобы конеца войны быль какъ свъть, возгоръвшися надъ тьмою, но не какъ тьма, поглотившая свътъ, необходимъ во время войны тотъ истинный, духовный, творческій подъемъ, въ которомъ человъкъ не закрываетъ себъ глаза на виновность своего ръшенія и своего діла, но видить все, какъ есть, и мужественно пріемлеть виновный подвига. Виновность двянія не исчезаеть, но остается; геройоткрыто избираеть неправедный путь, ибо праведнаго пути нътъ въ его распоряжении. Онъ слъдуетъ голосу совъсти, зовущей его къ защитъ духа, но средства, къ которымъ онъ обращается, ложатся на душу его виною и бременемъ. Только истинное духовное горфніе можеть дать достаточно силы, чтобы человькъ не изнемогъ подъ этимъ гнетомъ.

Пріемля свою вину, зная ее и не умаляя ее, героическая душа идеть навстрічу своей судьбі, не укрываясь за ссылками на тоть максимальный голось доброты, на который она до сихь поръ обращала такъ мало вниманія. Человінь, умівшій всю жизнь грішить въ серих интересахь и судорожно отыскивающій нравственно-безукоризненный исходь въ моменть, когда естественные плоды его жизни воздвигли угрозу духовнымь основамь существованія его и его народа, являеть собою картину величайшаго лице-

мърія. Напротивъ, въ пріятіи послъдствій своей вины и своей жизни скрыта возможность очищенія и обновленія. Необходимо только не закрывать себъ глазъ на свою вину въ прошломъ и на ту вину, которая ждетъ въ будущемъ и уже совершается при нашей поддержкъ и нашемъ участіи. Тогда останется непоколебленнымъ наше довъріе къ голосу совъсти и тогда будущее откроется намъ, какъ возможность освобожденія отъ кошмара прошлаго.

И. Ильинъ.